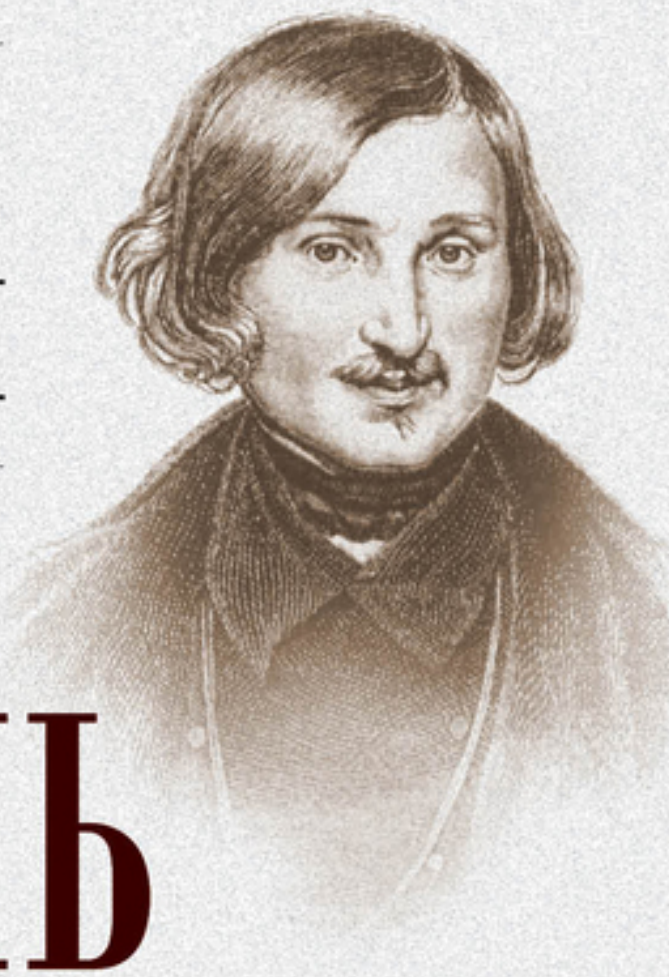

МЫСЛИ
О РОССИИ

НИКОЛАЙ
ГОГОЛЬ



КУДА
НЕСЁШЬСЯ,
РУСЬ?

МЫСЛИ
У ДОРОГИ



Мысли о России

Николай Гоголь

Куда несешься, Русь?
Мысли у дороги

«Алисторус»

2014

Гоголь Н. В.

Куда несешься, Русь? Мысли у дороги / Н. В. Гоголь —
«Алисторус», 2014 — (Мысли о России)

Великий писатель Николай Васильевич Гоголь, классик русской и украинской литературы, был еще и превосходным публицистом. Его статьи и очерки о судьбе России, о ее прошлом и будущем, о форме государственной власти, о православии, о народной жизни, о культуре до сих пор читаются так, как будто они написаны в наше время. В книгу, представленную вашему вниманию, вошли лучшие публицистические работы Н.В. Гоголя.

Содержание

Предисловие. Гоголь и судьба России (Б. Соколов)	6
Взгляд на составление Малороссии	10
Несколько слов о Пушкине	16
Выбранные места из переписки с друзьями	19
Предисловие	19
Женщина в свете (Письмо к...ой)	21
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Николай Гоголь

Куда несешься, Русь? Мысли у дороги

© ООО «Издательство «Алгоритм», 2014

Предисловие. Гоголь и судьба России (Б. Соколов)

Не подлежит никакому сомнению, что именно Гоголь привнес в русскую литературу мощный украинский культурный субстрат, что через его творчество украинская история и культура во многом стали известны России и миру. Думаю, такая формула не обидна ни для русского, ни для украинского национального самосознания. Гоголь действительно писатель двух народов, русского и украинского. И делить его творчество на «украинскую» и «русскую» части бессмысленно. Гоголь, несомненно, был патриотом Украины как своей малой родины, и патриотом России-Руси как империи, большой родины. Все это вполне соответствовало реалиям XIX века.

Как писал русский религиозный философ и литературный критик Константин Мочульский: «Жизнь Гоголя – сплошная пытка, самая страшная часть которой, протекавшая в плане мистическом, находится вне нашего зрения. Человек, родившийся с чувством космического ужаса, видевший вполне реально вмешательство демонических сил в жизнь человека, воспринимавший мир *sub specie mortis* (под знаком смерти (лат.). – Б.С.), боровшийся с дьяволом до последнего дыхания, – этот же человек «сгорал» страстной жаждой совершенства и неутолимой тоской по Богу. Душа Гоголя – сложная, темная, предельно одинокая и несчастная; душа патетическая и пророческая; душа, претерпевшая нечеловеческие испытания и пришедшая ко Христу».

Очень точно выразился Михаил Пришвин: «Гоголь силой слова хотел связать нечисть, чтобы освободить от нее красоту и добро. Он этому делу предался с такой силой страсти, что его образы стали живыми существами, как будто автор вывел этих жителей тьмы на свет, и они вынуждены были во всей наготе своей остаться между людьми». Автор «Ревизора» и «Мертвых душ» верил в силу заклятья печатным словом, и лишь в конце жизненного пути понял, что добро и зло переплетены в неразрывном единстве. И образы нечистой силы в его произведениях становились все мрачнее. Смешной и жалкий черт «Ночи перед Рождеством» превращается в мрачного искушителя героев «Невского проспекта» и «Портрета».

Житейская неустроенность была постоянной спутницей Гоголя. Остроумие и воображение компенсировали некоторый недостаток интеллектуального багажа.

Русский поэт и философ-мистик Даниил Андреев в своем религиозно-философском трактате «Роза мира» (1950–1958) отнес Гоголя к числу тех великих душ, что периодически являются человечеству в различных реинкарнациях: «Возрастает блаженство самих гамаюнов и сиринов, когда они видят те эпопеи, которые творят там великие души, прошедшие в последний раз по земле в обликах Державина и Пушкина, Лермонтова и Гоголя, Толстого и Достоевского, Рублева и Сурикова, Глинки и Мусоргского, Казакова и Баженова. Светящиеся волны невообразимых звучаний взмывают местами как бы из сердца небесных гор: они водворяют душу в состояние такой духовной отрады, от какого разорвалось бы земное сердце, и, поднимаясь и меняясь, подобно славословящим облакам, опускаются в любви и тишайшей радости...

Сделать так, чтобы Россия осознала все несовершенство своей стадии становления, всю неприглядность своей неозаренной жизни, – это должен был сделать и сделал Гоголь. Ему был дан страшный дар – дар созерцания изнанки жизни, и другой дар: дар художественной гениальности, чтобы воплотить увиденное в объективно пребывающих творениях, показуя его всем. Но трагедия Гоголя коренилась в том, что он чувствовал в себе еще и третий дар, нераскрытый, мучительно требовавший раскрытия, – а он не знал – и не узнал – как раскрыть этот третий дар: дар вестничества миров восходящего ряда, дар проповедничества и учительства. При этом ему не удавалось осознать различия между вестничеством и пророчеством; ему казалось, что вестничество миров света через образы искусства непременно должно связываться с высотой этической жизни, с личной праведностью. Ограниченные, сравнительно с художественной гени-

альностью, способности его ума не позволили ему понять несоответствие между его задачей и формами православно-учительной деятельности, в которую он пытался ее облечь. Распатанный и изъязвленный созерцанием чудищ «с унылыми лицами», психофизический состав его существа не выдержал столкновения между православным аскетизмом и требованиями художественного творчества, между чувством пророческого призвания и сознанием своего недовольства, между измучившими его видениями inferнальных кругов и жгучей жаждой – возвещать и учить о мирах горних. А недостаточность... начала деятельно-волевого как бы загнала этот жизненный конфликт во внутреннее пространство души, лишила его необходимых выявлений вовне и придала колорит тайны последнему, решающему периоду его жизни».

* * *

«Колорит тайны» пронизывает все творчество Гоголя. И столь же таинственна была для него судьба России, хотя он твердо верил в ее высокое предназначение. Писатель мечтал «проездить» по России, но главное свое произведение о родной стране, «Мертвые души», создал в далекой и любимой Италии. Ему требовался взгляд на Русь «из прекрасного далека». Российская империя в период жизни Гоголя, как казалось, испытывала наивысший подъем в своей истории. Россия после победы над Наполеоном на несколько десятилетий обрела гегемонию в континентальной Европе. И Гоголь был прав, когда писал о Руси-тройке, «мимо которой летит все, что ни есть на земле, и, косясь, посторониваются и дают ей дорогу другие народы и государства».

Николай Васильевич совсем немного не дожил до поражения николаевской России в Крымской войне. Можно не сомневаться, что он пережил бы это поражение как громадную личную трагедию. Ведь тогда всему миру стало ясно, что царствование императора Николая I на самом деле было не временем подъема к новым высотам и расцвета, а эпохой упадка по сравнению с достижениями предыдущего царствования, Александра I.

Гоголь видел все язвы николаевской России, связанные как с сохранением крепостничества, так и с бюрократической регламентацией всех жизненных проявлений, чем особенно отличался император Николай. Неслучайно Гоголь своей сатирой выставлял перед обществом неприглядные стороны и помещиков, и чиновников. Но при этом он не хотел никаких революционных перемен. Основы самодержавия и православия в России всегда были для него незыблемы. Он верил, что освоение новых пространств и перерождение «мертвых душ» оживит Россию и сделает ее подлинно великой во всех отношениях. Во многом автобиографичный Платонов во втором томе «Мертвых душ» заявляет: «Я решился... проездиться вместе с Павлом Ивановичем по святой Руси. Авань-либо это размычет хандру мою».

Но лекарство от хандры Гоголь видел не только в российских просторах, где, он верил, среди народа еще можно найти живые души. Главным он считал то, чтобы прежние мертвые души приобщились к Богу и переродились в живые. Вот тогда Россию действительно ждет светлое будущее, помещики будут жить в полной гармонии со своими крестьянами, а винные откупщики будут направлять свои капиталы для того, чтобы облагодетельствовать весь народ. Гоголь возлагал надежды на цивилизованный капитализм, где и буржуа, и помещики-землевладельцы будут руководствоваться исключительно христианскими принципами и ценностями. Отсюда и появились во втором томе «Мертвых душ» Костанжогло и Муразов. Тогда и крепостное право – не зло, а благо, потому что у такого помещика крестьяне всегда будут жить как у Христа за пазухой. И самодержавие тогда – идеальная форма правления, поскольку царь, наделенный всеми христианскими добродетелями и пекущийся только о благе своих подданных, и наделенный при этом неограниченными полномочиями, – это лучший правитель, которого только можно пожелать.

Утопия? Разумеется. Но это высокая утопия, и Гоголь в нее искренне верил. А если это не так, то ему, он думал, не стоит жить на свете. Все должны возлюбить всех, иначе – тупик, как думал писатель.

* * *

Русский философ, князь Евгений Николаевич Трубецкой в своей замечательной статье «Гоголь и Россия», опубликованной в 1909 году в «Московском Еженедельнике», основанной на речи, произнесенной на юбилейных торжествах Гоголя в Москве, писал: «Что же поведаль нам Гоголь о России? Прежде всего она для него – синоним чего-то необъятного, беспредельного, «неизмеримая русская земля». Но беспредельное – не содержание, а форма национального существования. Чтобы найти Россию, надо преодолеть пространство, наполнить творческой деятельностью ее безграничный простор. В поэзии Гоголя мы находим человека в борьбе с пространством. В этом – основная ее стихия, глубоко национальный ее источник...

В жизни и деятельности Гоголя мы находим эти самые черты народного типа. Он – по существу писатель-странник и богоискатель. Почти вся его литературная деятельность протекала среди непрерывных странствований; и эти странствования теснейшим образом связаны с самой сущностью его творчества, с основным делом его жизни, которое для него было делом, по существу, религиозным. Он странствовал, во-первых, потому, что всем существом своим испытывал тоску о России здешней, действительной, исторической, и, во-вторых, потому, что всем сердцем жаждал «Руси святой», соответствующей его религиозному идеалу.

Эти странствования были для него одновременно исканием Бога и исканием России. В «Переписке с друзьями» он объясняет, что то и другое – для него – одно и то же. Любовь к Богу без любви к человеку мертва: «Как полюбить Того, Кого никто не видал?» – «Не полюбивши России, не полюбите вам своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу». С этим Гоголь связывает мысль о паломничестве по России; нужно «проездиться по России», чтобы ее полюбить, узнать и деятельно послужить ей. Напрасно было бы думать, что такой взгляд на религиозное значение путешествий возник у Гоголя в эпоху «Переписки с друзьями». С мыслью о его религиозном служении для него связывались все его странствования уже в конце двадцатых и в тридцатых годах. Уже в 1829 году он пишет матери, что Бог указал ему путь в землю чужую. Также в 1836 году он объясняет свое заграничное путешествие предначертанием свыше. В письмах своих он вообще упоминает о своих странствованиях рядом с «уединением», «отлучением от мира», самоуглублением, молитвами...

Замечательно, что образ России как целого для Гоголя не отделялся от странствования, дороги. Известно, что она явилась ему в образе бешено скачущей тройки, которая «мчится, вся вдохновенная Богом». Он видел ее в общем порыве, в общем движении. Движение и есть то, что объединяет Русь в одно целое.

В этом образе обращает на себя внимание его незаконченность. Гоголь ясно видел, как и откуда скачет тройка; но он не отдавал себе отчета, куда она несется. С этим связано то роковое противоречие лирических мест первого тома «Мертвых душ», в котором выражается вся безысходная драма последующего периода литературной деятельности Гоголя. С одной стороны, художник чувствует, что «все в России обратило на него полные ожидания очи». Родина жаждет узнать от него разгадку смысла своего существования: она ждет от него откровения нового жизненного пути. Но вместо ответа у него самого вопрос шевелится на устах: «Русь, куда же несешься ты! Дай ответ! Не дает ответа!»

Можно вполне согласиться с Е.Н. Трубецким в том, что для Гоголя важно было движение России само по себе, а не конкретное направление такого движения. Движение свидетельствовало, что Россия – жива. А куда идет движение – знает один только Бог, ведь человеку не дано предугадать свое будущее.

По мнению Е.Н. Трубецкого, «необходимым условием воплощения правды в общественных отношениях является всеобщее раскрепощение, осуществление частной и общественной свободы; крупная ошибка Гоголя заключалась в том, что он этого не понимал. Но еще ошибочнее распространенное в наше время мнение, которое, наоборот, ждет спасения общества исключительно от внешних преобразований. Именно это заблуждение составляет главное препятствие к разрешению поставленного нами вопроса – почему Россия до сих пор не вышла из того тупика, на который наткнулся Гоголь, который помимо способности наблюдать настоящее, обладал несомненным даром провидеть будущее. Среди полного затишья сороковых годов он видел бешеную скачку русской тройки. Ничего подобного в то время не происходило, и, конечно, тогда Россия никого не обгоняла. Тут Гоголь, очевидно, не наблюдал, а предвидел, ибо чуял народный характер. Живая душа писателя почувствовала в себе крылья, которые уносили ее от мертвых душ; он верил, что эти крылья рано или поздно вырастут у России».

Вряд ли здесь речь может идти об ошибке Гоголя. Ведь он был не политиком, а писателем и мыслителем, и та утопическая картина будущего России, которую он себе создал, была составной частью и необходимым условием его художественного творчества. Пока Гоголь верил в ту картину мира, он создавал шедевры, среди которых Монбланом возвышается первый том «Мертвых душ». Но когда он стал сомневаться и утратил веру в утопию, то уже больше не мог писать так, как прежде, и не смог закончить второй том своей гениальной поэмы, да и вообще не смог жить. А насчет того, выросли ли после эпохи Гоголя у России крылья или нет, споры продолжают по сей день...

* * *

Вместо второго тома «Мертвых душ» Гоголь создал «Выбранные места из переписки с друзьями». При жизни писателя она подвергалась суровой и вряд ли справедливой критике. И дело здесь было не только в том, что издание 1847 года подверглось значительным цензурным изъятиям, а полный текст книги был опубликован лишь 20 лет спустя, когда Гоголя уже 15 лет как не было в живых. Беда в том, что к «Выбранным местам» критики подошли как к художественному произведению, тогда как это была художественно-дидактическая публицистика, и в этом своем качестве она остается актуальной и востребованной и сегодня. Гоголь старался убедить своих читателей, что именно такого будущего надо желать России и надо неустанно работать над этим будущим. Недаром Гоголь признавался в письме А.О. Смирновой 28 декабря 1844 года: «С тех пор как я оставил Россию, произошли во мне великие перемены. Душа заняла меня всего». В Гоголе произошел поворот к проповедничеству и аскетизму, и это нашло отражение в «Выбранных местах».

По мнению Дмитрия Мережковского, здесь Гоголь «первый заговорил о Боге не отвлеченно, не созерцательно, не догматически, а жизненно, действительно – так, как никто еще никогда не говорил в русском светском обществе. Правду или неправду он говорит, неотразимо все-таки чувствуется, что вопрос о Боге есть для него самого вопрос жизни и смерти, полный бесконечного ужаса, вопрос его собственного, личного и общего русского всемирного спасения... Мудрость ли это или безумие – он, во всяком случае, не только говорил о Боге, но и делал, по крайней мере, желал сделать, отчасти и сделал для Бога то, о чем говорил... Он почувствовал до смертной боли и смертного ужаса, что христианство для современного человечества все еще остается чем-то сказанным, но не сделанным, обещанным, но не исполненным»...

Б. Соколов

Взгляд на составление Малороссии

I. Какое ужасно-ничтожное время представляет для России XIII век! Сотни мелких государств единоверных, одноплеменных, одноязычных, означенных одним общим характером и которых, казалось, против воли соединяло родство, – эти мелкие государства так были между собою разъединены, как редко случается с разнохарактерными народами. Они были разъединены не ненавистью, сильные страсти не досягали сюда, не постоянною политикою – следствием непреклонного ума и познания жизни. Это был хаос браней за временное, за минутное, браней разрушительных, потому что они мало-помалу извели народный характер, едва начавший принимать отличительную физиономию при сильных норманнских князьях. Религия, которая более всего связывает и образует народы, мало на них действовала. Религия не срослась тогда тесно с законами, с жизнью. Монахи, настоятели, даже митрополиты были схимники, удалившиеся в свои кельи и закрывшие глаза для мира; молившиеся за всех, но не знавшие, как схватить с помощью своего сильного оружия, веры, власть над народом и возжечь этой верой пламень и ревность до энтузиазма, который один властен соединить младенчествующие народы и настроить их к великому. Здесь была совершенная противоположность Западу, где самодержавный папа, как будто невидимую паутину, опутал всю Европу своею религиозною властью, где его могущественное слово прекращало брань или возжигало ее, где угроза страшного проклятия обуздывала страсти и полудикие народы. Здесь монастыри были убежищем тех людей, которые кротостью и незлобием составляли исключение из общего характера и века. Изредка пастыри из пещер и монастырей увещали удельных князей; но их увещания были напрасны: князья умели только поститься и строить церкви, думая, что исполняют этим все обязанности христианской религии, а не умели считать ее законом и покоряться ее велениям. Самые ничтожные причины рождали между ими бесконечные войны. Это были не споры королей с вассалами или вассалов с вассалами: – нет! это были брани между родственниками, между родными братьями, между отцом и детьми. Не ненависть, не сильная страсть воздымала их: – нет! брат брата резал за клочок земли или просто чтобы показать удалство. Пример ужасный для народа! Родство рушилось, потому что жители двух соседних уделов, родственники между собою готовы были каждую минуту восстать друг против друга с яростью волков. Их не подвигала на это наследственная вражда, потому что кто был сегодня друг, тот завтра делался неприятелем. Народ приобрел хладнокровное зверство, потому что он резал, сам не зная за что. Его не разжигало ни одно сильное чувство, ни фанатизм, ни суеверие, ни даже предрассудок. Оттого, казалось, умерли в нем почти все человеческие сильные благородные страсти, и если бы явился какой-нибудь гений, который бы захотел тогда с этим народом совершить великое, он бы не нашел в нем ни одной струны, за которую бы мог ухватиться и потрясти бесчувственный состав его, выключая разве физической железной силы. Тогда история, казалось, застыла и превратилась в географию: однообразная жизнь, шевелившаяся в частях и неподвижная в целом, могла почестся географическою принадлежностью страны.

II. Тогда случилось дивное происшествие. Из Азии, из средине ее, из степей, выбросивших столько народов в Европу, поднялся самый страшный, самый многочисленный, совершивший столько завоеваний, сколько до него не производил никто. Ужасные монголы, с многочисленными, никогда дотоле невиданными Европою табунами, кочевыми кибитками, хлынули на Россию, осветивши путь свой пламенем и пожарами – прямо азиатским буйным наслаждением. Это нашествие наложило на Россию двухвековое рабство и скрыло ее от Европы. Было ли оно спасением для нее, сберегши ее для независимости, потому что удельные князья не сохранили бы ее от литовских завоевателей, или оно было наказанием за те беспрерывные брани: как бы то ни было, но это страшное событие произвело великие следствия: оно наложило иго на северные и средние русские княжения, но дало между тем происхождение новому

славянскому поколению в южной России, которого вся жизнь была борьба и которого историю я взялся представить.



Василий Гоголь-Яновский – отец Николая Гоголя

III. Южная Россия более всего пострадала от татар. Выжженные города и степи, обгорелые леса, древний, разрушенный Киев, безлюдье и пустыня – вот что представляла эта несчастная страна! Испуганные жители разбежались или в Польшу, или в Литву; множество бояр и князей выехало в северную Россию. Еще прежде народонаселение начало заметно уменьшаться в этой стороне. Киев давно уже не был столицею; значительные владения были гораздо севернее. Народ, как бы понимая сам свою ничтожность, оставлял те места, где разнообразная природа начинает становиться изобретательницею; где она раскинула степи прекрасные, вольные, с бесчисленным множеством трав почти гигантского роста, часто неожиданно среди них опро-

кинула косогор, убранный дикими вишнями, черешнями, или обрушила рытвину всю в цветах и по всем вьющимся лентам рек разбросала очаровательные виды, протянула во всю длину Днепр с ненасытными порогами, с величественными гористыми берегами и неизмеримыми лугами, и все это согрела умеренным дыханием юга. Он оставлял эти места и столплялся в той части России, где местоположение, однообразно-гладкое и ровное, везде почти болотистое, истыканное печальными елями и соснами, показывало не жизнь живую, исполненную движения, но какое-то прозябание, поражающее душу мыслящего. Как будто бы этим подтвердилось правило, что только народ, сильный жизнью и характером, ищет мощных местоположений или что только смелые и поразительные местоположения образуют смелый, страстный, характерный народ.

IV. Когда первый страх прошел, тогда мало-помалу выходцы из Польши, Литвы, России начали селиться в этой земле, настоящей отчизне славян, земле древних полян, северян, чистых славянских племен, которые в Великой России начинали уже смешиваться с народами финскими, но здесь сохранились в прежней цельности со всеми языческими поверьями, детскими предрассудками, песнями, сказками, славянской мифологией, так простодушно у них смешавшейся с христианством. Возвращавшиеся на свои места прежние жители привели по следам своим и выходцев из других земель, с которыми от долговременного пребывания составили связи. Это население производилось боязненно и робко, потому что ужасный кочевой народ был не за горами: их разделяли или, лучше сказать, соединяли одни степи. Несмотря на пестроту населения, здесь не было тех браней междоусобных, которые не переставали во глубине России: опасность со всех сторон не давала возможности заняться ими. Киев – древняя мать городов русских – сильно разрушенный страшными обладателями табунов, долго оставался беден и едва ли мог сравниться со многими даже не слишком значительными городами северной России. Все оставили его, даже монахи-летописцы, для которых он всегда был священ. Известия о нем разом прервались, и, несмотря на то, что там оставалась еще отрасль князей русских, ничто не спасло его от полувекового забвения. Изредка только, как будто сквозь сон, говорят летописцы, что он был страшно разорен, что в нем были ханские баскаки, – и потом он от них задернулся как бы непроницаемою завесою.

V. Между тем как Россия была повергнута татарами в бездействие и оцепенение, великий язычник Гедимин вывел на сцену тогдашней истории новый народ – народ, бедный и жизнью и средствами для жизни, населявший дикие сосновые леса нынешней Белоруссии, еще носивший звериную кожу вместо одежды, еще боготворивший Перуна и поклонявшийся древнему огню в нетроганных топором рощах, плативший прежде дань русским князьям, известный под именем литовцев. И этот народ при своем князе Гедимине сделался самым видным на огромном северо-востоке Европы! Тогда города, княжества и народы на западе России были какие-то отрывки, обрезки, оставшиеся за гранью татарского порабощения. Они не составляли ничего целого, и потому литовский завоеватель почти одним движением языческих войск своих, совершенно созданных им, подверг своей власти весь промежуток между Польшей и татарской Россией. Потом двинул он войска свои на юг, во владения волынских князей. Весьма естественно, что успех сопровождал его везде. В Луцке однако ж князь Лев сильно сопротивлялся, но не в силах был отстоять земель своих. Гедимин, назначив старост и начальников, шел далее на юг, к самому сердцу южной России, к Киеву. Убежавший луцкий князь Лев успел кое-как уговорить киевского князя Станислава выйти с своими немногочисленными дружинами навстречу грозному победителю: дружины были усилены союзниками-татарами; но все бежало перед мощным литовцем. Гедимин, сильно поразив их при реке Ирпени, вступил с торжеством в Киев, носивший на себе свежую печать татарского посещения, и постановил в нем правителем князя Миндова Ольшанского, принявшего греческую веру. Итак, литовский завоеватель у самых татар вырвал почти перед глазами их находившуюся землю! Это должно бы, казалось, возбудить борьбу между двумя народами, но Гедимин был человек ума крепкого, был политик,

несмотря на видимую свою дикость и свое невежественное время. Он умел сохранить дружбу с татарами, владея отнятыми у них землями и не платя никакой дани. Этот дикий политик, не знавший письма и поклонявшийся языческому богу, ни у одного из покоренных им народов не изменил обычаев и древнего правления; все оставил по-прежнему, подтвердил все привилегии и старшинам строго приказал уважать народные права; нигде даже не означил пути своего опустошением. Совершенная ничтожность окружающих его народов и прямо исторических лиц придают ему какой-то исполинский размер. Он умер в 1340 году; мертвый был посажен на коня с своим оруженосцем, с охотничьими собаками, соколами и сожжен по языческому обычаю литовцев. Вслед за ним такие же два сильные характера, Ольгерд и Ягайло, вознесли Литву, употребляя ту же самую политику с присоединенными народами.

VI. И вот южная Россия, под могущественным покровительством литовских князей, совершенно отделилась от северной. Всякая связь между ими разорвалась; составились два государства, называвшиеся одинаким именем – Русью. Одно под татарским игом, другое под одним скипетром с литовцами. Но уже сношений между ими не было. Другие законы, другие обычаи, другая цель, другие связи, другие подвиги составили на время два совершенно различных характера. Каким образом это произошло – составляет цель нашей истории. Но прежде всего, нужно бросить взгляд на географическое положение этой страны, что непременно должно предшествовать всему, ибо от вида земли зависит образ жизни и даже характер народа. Многое в истории разрешает география.

Эта земля, получившая после название Украины, простирающаяся на север не далее 50° широты, более ровна, нежели гориста. Небольшие возвышенности встречаются очень часто, но ни одной гористой цепи. Северная ее часть перемежается лесами, содержащими прежде в себе целые шайки медведей и диких кабанов; южная вся открыта, вся из степей, кипевших плодородием, но только изредка засевавшихся хлебом. Девственная и могучая почва их своевольно произращала бесчисленное множество трав. Эти степи кипели стадами сайг, оленей и диких лошадей, бродивших табунами. С севера на юг проходит великий Днепр, опутанный ветвями впадающих в него рек. Правый берег его горист и представляет пленительные и вместе дерзкие местоположения; левый весь из лугов, покрытых рощами, потоплявшимися водою. Двенадцать порогов, выросших из dna реки скал, недалеко от впадения его в море, преграждают течение и делают плавание по нем чрезвычайно опасным. Около порогов водился род диких коз – сугаки, с белыми лоснящимися рогами, с мягкой, атласною шерстью. Прежде воды в Днепре были выше, разливался он шире и далее потоплял луга свои. Когда воды начинают опадать, тогда вид поразителен: все возвышенности выходят и кажутся бесчисленными зелеными островами среди необозримого океана воды. В Днепр впадает только одна судоходная река, Десна, проходящая в северной Украине, с лесистыми берегами, почти с обеих сторон потопляемыми водою; но и эта река только в некоторых местах судоходна. Кроме того на севере Остер и часть Сейма, на юге Сула, Псел, с цепью видов, Хорол и другие; но ни одна из них не судоходна. Сообщения никакого нет; произведения не могли взаимно размениваться – и потому здесь не мог и возникнуть торговый народ.

Все реки разветвляются посередине; ни одна из них не протекала на рубеже и не служила естественною гранью с соседственными народами. К северу ли с Россией, к востоку ли с кипчакскими татарами, к югу ли с крымскими, к западу ли с Польшей – везде она граничила полем, везде равнина, со всех сторон открытое место. Будь хотя бы с одной стороны естественная граница из гор или моря – и народ, поселившийся здесь, удержал бы политическое бытие свое, составил бы отдельное государство. Но беззащитная, открытая земля эта была землей опустошений и набегов, местом, где сшибались три враждующие нации, унавожена костями, утучнена кровью. Один татарский наезд разрушал весь труд земледельца: луга и нивы были вытаптываемы конями и выжигаемы, легкие жилища сносимы до основания, обитатели разгоняемы или угоняемы в плен вместе со скотом. Это была земля страха; и потому в ней мог обра-

зоваться только народ воинственный, сильный своим соединением, народ отчаянный, которого вся жизнь была бы повита и взлелеяна войною. И вот выходцы вольные и невольные, бездомные, те, которым нечего было терять, которым жизнь – копейка, которых буйная воля не могла терпеть законов и власти, которым везде грозила виселица, расположились и выбрали самое опасное место в виду азиатских завоевателей – татар и турков. Эта толпа, разросшись и увеличившись, составила целый народ, набросивший свой характер и, можно сказать, колорит на всю Украину, сделавший чудо – превративший мирные славянские поколения в воинственные, известный под именем козаков, народ, составляющий одно из замечательных явлений европейской истории, которое, может быть, одно сдержало это опустошительное разлитие двух магометанских народов, грозивших поглотить Европу.

VII. Если не к концу XIII, то к началу XIV века можно отнести появление козачества, к тем векам, когда святая, сильная ревность к религии еще не остыла в Европе, когда почти вдруг во всех концах беспрестанно образовывались братства и ордена рыцарские, составлявшие странную противоположность с тогдашним разъединением, с изумительным самоотвержением разрушившие и отвергнувшие условия обыкновенной жизни, безбрачные, суровые, неотразимые соглядатаи дел мира, железные поборники веры Христовой. Чем слабее была связь тогдашних государств, тем сильнее росла ужасная сила этих обществ. Разлитие магометанства и магометанских новых сильных народов, уже врывавшихся в Европу, увеличивало их еще более. Дух этих братств распространился везде и не между рыцарями и не для подобных предназначений. В это время явился близ порогов городок, или острог Черкасы, построенный удалыми выходцами, имя которого звучит обитателями Кавказа, которого даже построение многие приписывают им, и где было главное сборище и местопребывание козаков. Вначале частые нападения татар на северную часть Украины заставляли жителей спасаться бегством, приставать к козакам и увеличивать их общество. Это было пестрое сборище самых отчаянных людей пограничных наций. Дикий горец, ограбленный россиянин, убежавший от деспотизма панов польский холоп, даже беглец исламизма татарин, может быть, положили первое начало этому странному обществу по ту сторону Днепра, впоследствии постановившему целью, подобно орденским рыцарям, вечную войну с неверными. Это скопище людей не имело никаких укреплений, ни одного замка. Землянки, пещеры и тайники в днепровских утесах, часто под водою, на днепровских островах, в гуще степной травы, служили им укрытием для себя и для награбленных богатств. Гнездо этих хищников было невидимо; они налетали внезапно и, схвативши добычу, возвращались назад. Они поворотили против татар их же образ войны, те же азиатские набеги. Как жизнь их определена была на вечный страх, так точно с своей стороны они решились быть страхом для соседей. Татары и турки должны были всякой час ожидать этих неумолимых обитателей порогов. Магометанский сосед не знал, как назвать этот ненавистный народ. Если кто хотел к кому выразить величайшее презрение, то называл его козаком.

VIII. Большая часть этого общества состояла однако ж из первобытных, коренных обитателей южной России. Доказательство – в языке, который, несмотря на принятие множества татарских и польских слов, имел всегда чисто славянскую южную физиономию, приближавшую его к тогдашнему русскому, и в вере, которая всегда была греческая. Всякой имел полную волю приставать к этому обществу, но он должен был непременно принять греческую религию. Это общество сохраняло все те черты, которыми рисуют шайку разбойников; но, бросивши взгляд глубже, можно было увидеть в нем зародыш политического тела, основание характерного народа, уже вначале имевшего одну главную цель – воевать с неверными и сохранять чистоту религии своей. Это однако ж не были строгие рыцари католические: они не налагали на себя никаких обетов, никаких постов; не обуздывали себя воздержанием и умерщвлением плоти; были неукротимы, как их днепровские пороги, и в своих неистовых пиршествах и бражничестве позабывали весь мир. То же тесное братство, которое сохраняется в разбойничьих шайках, связывало их между собою. Все было у них общее – вино, цехины, жилища. Вечный

страх, вечная опасность внушали им какое-то презрение к жизни. Козак больше заботился о доброй мере вина, нежели о своей участи. Но в нападениях видна была вся гибкость, вся сметливость ума, все умение пользоваться обстоятельствами. Нужно было видеть этого обитателя порогов в полутатарском, полупольском костюме, на котором так резко отпечатались пограничность земли, азиатски мчавшегося на коне, пропадавшего в густой траве, бросавшегося с быстротою тигра из неприметных тайников своих или вылезавшего внезапно из реки или болота, обвешанного тиной и грязью, казавшегося страшилищем бегущему татарину. Этот же самый козак после набега, когда гулял и бражничал со своими товарищами, сорил и разбрасывал награбленные сокровища, был бессмысленно пьян и беспечен до нового набега, если только не предупреждали их татары, не разгоняли их пьяных и беспечных и не разрывали до основания городка их, который, как будто чудом, строился вновь, и опустошительный, ужасный набег был отмщением. После чего снова та же беспечность, та же разгульная жизнь.

IX. Казалось, существование этого народа было вечно. Он никогда не уменьшался: выбывшие, убитые, потонувшие заменялись новыми. Такая разгульная жизнь приманивала всякого.

Тогда было то поэтическое время, когда все добывалось саблею; когда каждый в свою очередь стремился быть действующим лицом, а не зрителем. Это скопление мало-помалу получило совершенно один общий характер и национальность, и чем ближе к концу XV века, тем более увеличивалось приходящими вновь. Наконец целые деревни и сёла начали поселяться с домами и семействами около этого грозного оплота, чтобы пользоваться его защитой, с условием за то некоторых повинностей. И таким образом места около Киева начали пустеть, а между тем по ту сторону Днепра люднели. Семейные и женатые мало-помалу от обращения и сношения с ними получали тот же воинственный характер. Сабля и плуг сдружились между собою и были у всякого селянина. Между тем разгульные холостяки вместе с червонцами, цехинами и лошадьми стали похищать татарских жен и дочерей и жениться на них. От этого смещения черты лица их, вначале разнохарактерные, получили одну общую физиогномию, более азиатскую. И вот составилась народ, по вере и месту жительства принадлежавший Европе, но между тем по образу жизни, обычаям, костюму совершенно азиатский, народ, в котором так странно столкнулись две противоположные части света, две разнохарактерные стихии: европейская осторожность и азиатская беспечность, простодушие и хитрость, сильная деятельность и величайшая лень и нега, стремление к развитию и усовершенствованию – и между тем желание казаться пренебрегающим всякое совершенствование.

1832 г.

Несколько слов о Пушкине

При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более назваться национальным; это право решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла.

Самая его жизнь совершенно русская. Тот же разгул и раздолье, к которому иногда позабывшись стремится русской и которое всегда нравится свежей русской молодежи, отразились на его первобытных годах вступления в свет. Судьба как нарочно забросила его туда, где границы России отличаются резкою, величавою характерностью; где гладкая неизмеримость России прерывается подоблачными горами и обвеивается югом. Исполинский, покрытый вечным снегом Кавказ, среди знойных долин, поразил его; он, можно сказать, вызвал силу души его и разорвал последние цепи, которые еще тяготели на свободных мыслях. Его пленила вольная поэтическая жизнь дерзких горцев, их схватки, их быстрые, неотразимые набеги; и с этих пор кисть его приобрела тот широкий размах, ту быстроту и смелость, которая так дивила и поражала только что начинавшую читать Россию. Рисует ли он боевую схватку чеченца с козаком – слог его молния; он так же блещет, как сверкающие сабли, и летит быстрее самой битвы. Он один только певец Кавказа: он влюблен в него всею душою и чувствами; он проникнут и напитан его чудными окрестностями, южным небом, долинами прекрасной Грузии и великолепными крымскими ночами и садами. Может быть, оттого и в своих творениях он жарче и пламеннее там, где душа его коснулась юга. На них он невольно означил всю силу свою, и оттого произведения его, напитанные Кавказом, волею черкесской жизни и ночами Крыма, имели чудную, магическую силу: им изумлялись даже те, которые не имели столько вкуса и развития душевных способностей, чтобы быть в силах понимать его. Смелое более всего доступно, сильнее и просторнее раздвигает душу, а особливо юности, которая вся еще жаждет одного необыкновенного. Ни один поэт в России не имел такой завидной участи, как Пушкин. Ничья слава не распространялась так быстро. Все кстати и некстати считали обязанностью проговорить, а иногда исковеркать какие-нибудь ярко сверкающие отрывки его поэм. Его имя уже имело в себе что-то электрическое, и стоило только кому-нибудь из досужих марателеев выставить его на своем творении, уже оно расходилось повсюду.

Он при самом начале своем уже был национален, потому что истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами. Если должно сказать о тех достоинствах, которые составляют принадлежность Пушкина, отличающую его от других поэтов, то они заключаются в чрезвычайной быстроте описания и в необыкновенном искусстве немногими чертами означить весь предмет. Его эпитет так отчетлив и смел, что иногда один заменяет целое описание; кисть его летает. Его небольшая пьеса всегда стоит целой поэмы. Вряд ли о ком из поэтов можно сказать, чтобы у него в коротенькой пьесе вмещалось столько величия, простоты и силы, сколько у Пушкина.

Но последние его поэмы, писанные им в то время, когда Кавказ скрылся от него со всем своим грозным величием и державно возносящеюся из-за облак вершиною, и он погрузился

в сердце России, в ее обыкновенные равнины, предался глубже исследованию жизни и нравов своих соотечественников и захотел быть вполне национальным поэтом, – его поэмы уже не всех поразили тою яркостью и ослепительной смелостью, какими дышит у него все, где ни являются Эльбрус, горы, Крым и Грузия.

Явление это, кажется, не так трудно разрешить: будучи поражены смелостью его кисти и волшебством картин, все читатели его, образованные и необразованные, требовали наперерыв, чтобы отечественные и исторические происшествия сделались предметом его поэзии, позабывая, что нельзя теми же красками, которыми рисуются горы Кавказа и его вольные обитатели, изобразить более спокойный и гораздо менее исполненный страстей быт русской. Масса публики, представляющая в лице своем нацию, очень странна в своих желаниях; она кричит: изобрази нас так, как мы есть, в совершенной истине, представь дела наших предков в таком виде, как они были. Но попробуй поэт, послушный ее велению, изобразить все в совершенной истине и так, как было, она тотчас заговорит: это вяло, это слабо, это не хорошо, это нимало не похоже на то, что было. Масса народа похожа в этом случае на женщину, приказывающую художнику нарисовать с себя портрет совершенно похожий, но горе ему, если он не умел скрыть всех ее недостатков. Русская история только со времени последнего ее направления при императорах приобретает яркую живость; до того характер народа большею частию был бесцветен; разнообразие страстей ему мало было известно. Поэт не виноват; но и в народе тоже весьма извинительное чувство придать больший размер делам своих предков. Поэту оставалось два средства: или натянуть сколько можно выше свой слог, дать силу бессильному, говорить с жаром о том, что само в себе не сохраняет сильного жара, тогда толпа почитателей, толпа народа на его стороне, а вместе с ним и деньги; или быть верну одной истине, быть высоким там, где высок предмет, быть резким и смелым, где истинно резкое и смелое, быть спокойным и тихим, где не кипит происшествие. Но в этом случае прощай толпа! ее не будет у него, разве когда самый предмет, изображаемый им, уже так велик и резок, что не может не произвести всеобщего энтузиазма. Первого средства не избрал поэт, потому что хотел остаться поэтом и потому что у всякого, кто только чувствует в себе искру святого призвания, есть тонкая разборчивость, не позволяющая ему выказывать свой талант таким средством. Никто не станет спорить, что дикий горец в своем воинственном костюме, вольный как воля, сам себе и судия и господин, гораздо ярче какого-нибудь заседателя, и несмотря на то, что он зарезал своего врага, притаясь в ущелье, или выжег целую деревню, однако же он более поражает, сильнее возбуждает в нас участие, нежели наш судья в истертом фраке, запачканном табаком, который невинным образом посредством справок и выправок пустил по миру множество всякого рода крепостных и свободных душ. Но тот и другой, они оба – явления, принадлежащие к нашему миру: они оба должны иметь право на наше внимание, хотя по естественной причине то, что мы реже видим, всегда сильнее поражает наше воображение, и предпочесть необыкновенному обыкновенное есть больше ничего, кроме нерасчет поэта – нерасчет перед его многочисленною публикою, а не перед собою. Он ничуть не теряет своего достоинства, даже, может быть, еще более приобретает его, но только в глазах немногих истинных ценителей. Мне пришло на память одно происшествие из моего детства. Я всегда чувствовал маленькую страсть к живописи. Меня много занимал писанный мною пейзаж, на первом плане которого раскидывалось сухое дерево. Я жил тогда в деревне; знатоки и судьи мои были окружные соседи. Один из них, взглянув на картину, покачал головою и сказал: «Хороший живописец выбирает дерево рослое, хорошее, на котором бы и листья были свежие, хорошо растущее, а не сухое». В детстве мне казалось досадно слышать такой суд, но после я из него извлек мудрость: знать, что нравится и что не нравится толпе. Сочинения Пушкина, где дышит у него русская природа, так же тихи и бесспорны, как русская природа. Их только может совершенно понимать тот, чья душа носит в себе чисто русские элементы, кому Россия родина, чья душа так нежно организована и развилась в чувствах, что способна понять неблестящие с виду русские песни и русский дух. Потому что

чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина. По справедливости ли оценены последние его поэмы? Определил ли, понял ли кто Бориса Годунова, это высокое, глубокое произведение, заключенное во внутренней, неприступной поэзии, отвергнувшее всякое грубое, пестрое убранство, на которое обыкновенно заглядывается толпа? – по крайней мере, печатно нигде не произнеслась им верная оценка, и они остались донныне нетронуты.

В мелких своих сочинениях, этой прелестной антологии, Пушкин разносторонен необыкновенно и является еще обширнее, виднее, нежели в поэмах. Некоторые из этих мелких сочинений так резко ослепительны, что их способен понимать всякой, но зато большая часть из них, и притом самых лучших, кажется обыкновенною для многочисленной толпы. Чтобы быть доступною понимать их, нужно иметь слишком тонкое обоняние. Нужен вкус выше того, который может понимать только одни слишком резкие и крупные черты. Для этого нужно быть в некотором отношении сибаритом, который уже давно пресытился грубыми и тяжелыми яствами, который ест птичку не более наперстка и услаждается таким блюдом, которого вкус кажется совсем неопределенным, странным, без всякой приятности привыкшему глотать изделия крепостного повара. Это собрание его мелких стихотворений – ряд самых ослепительных картин. Это тот ясный мир, который так дышит чертами, знакомыми одним древним, в котором природа выражается так же живо, как в струе какой-нибудь серебряной реки, в котором быстро и ярко мелькают ослепительные плечи, или белые руки, или алебастровая шея, обсыпанная ночью темных кудрей, или прозрачные гроздия винограда, или мирты и древесная сень, созданные для жизни. Тут все: и наслаждение, и простота, и мгновенная высота мысли, вдруг объемлющая священный холодом вдохновения читателя. Здесь нет этого каскада красноречия, увлекающего только многословием, в котором каждая фраза потому только сильна, что соединяется с другими и оглушает падением всей массы, но если отделить ее, она становится слабою и бессильною. Здесь нет красноречия, здесь одна поэзия; никакого наружного блеска, все просто, все прилично, все исполнено внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг; все лаконизм, каким всегда бывает чистая поэзия. Слов немного, но они так точны, что обозначают все. В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъятно, как поэт. Отсюда происходит то, что эти мелкие сочинения перечитываешь несколько раз, тогда как достоинства этого не имеет сочинение, в котором слишком просвечивает одна главная идея.

Мне всегда было странно слышать суждения об них многих, слывающих знатоками и литераторами, которым я более доверял, покамест еще не слышал их толков об этом предмете. Эти мелкие сочинения можно назвать пробным камнем, на котором можно испытывать вкус и эстетическое чувство разбирающего их критика. Непостижимое дело! казалось, как бы им не быть доступными всем! Они так просто возвышенны, так ярки, так пламенны, так сладострастны и вместе так детски чисты. Как бы не понимать их! Но увы! это неотразимая истина: что чем более поэт становится поэтом, чем более изображает он чувства, знакомые одним поэтам, тем заметней уменьшается круг обступившей его толпы, и наконец так становится тесен, что он может перечест по пальцам всех своих истинных ценителей.

1832 г.

Выбранные места из переписки с друзьями

Предисловие

Я был тяжело болен; смерть уже была близко. Собравши остаток сил своих и воспользовавшись первой минутой полной трезвости моего ума, я написал духовное завещание, в котором, между прочим, возлагаю обязанность на друзей моих издать после моей смерти некоторые из моих писем. Мне хотелось хотя сим искупить бесполезность всего, доселе мною напечатанного, потому что в письмах моих, по признанию тех, к которым они были писаны, находится более нужного для человека, нежели в моих сочинениях. Небесная милость Божия отвела от меня руку смерти. Я почти выздоровел; мне стало легче. Но, чувствуя, однако, слабость сил моих, которая возвещает мне ежеминутно, что жизнь моя на волоске и приготавливаясь к отдаленному путешествию к Святым Местам, необходимому душе моей, во время которого может все случиться, я захотел оставить при расставанье что-нибудь от себя моим соотечественникам. Выбираю сам из моих последних писем, которые мне удалось получить назад, все, что более относится к вопросам, занимающим ныне общество, отстранивши все, что может получить смысл только после моей смерти, с исключением всего, что могло иметь значение только для немногих. Прибавляю две-три статьи литературные и, наконец, прилагаю самое завещание, с тем, чтобы в случае моей смерти, если бы она застигла меня на пути моем, возымело оно тотчас свою законную силу, как засвидетельствованное всеми моими читателями.

Сердце мое говорит, что книга моя нужна и что она может быть полезна. Я думаю так не потому, что имел высокое о себе понятие и надеялся на уменье свое быть полезным, но потому, что никогда еще доселе не питал такого сильного желанья быть полезным. От нас уже довольно бывает протянуть руку с тем, чтобы помочь, помогаем же не мы, помогает Бог, ниспосылая силу слову бессильному. Итак, сколь бы ни была моя книга незначительна и ничтожна, но я позволяю себе издать ее в свет и прошу моих соотечественников прочесть ее несколько раз; в то же время прошу тех из них, которые имеют достаток, купить несколько ее экземпляров и раздать тем, которые сами купить не могут, уведомляя их при этом случае, что все деньги, какие перевысят издержки на предстоящее мне путешествие, будут обращены, с одной стороны, в подкрепление тем, которые, подобно мне, почувствуют потребность внутреннюю отправиться к наступающему Великому Посту во Святую Землю и не будут иметь возможности совершить его одними собственными средствами, с другой стороны – в пособие тем, которых я встречаю на пути уже туда идущих и которые все помолятся у Гроба Господня за моих читателей, своих благодетелей.

Путешествие мое хотел бы я совершить как добрый христианин. И потому испрашиваю здесь прощения у всех моих соотечественников во всем, чем не случилось мне оскорбить их. Знаю, что моими необдуманнми и незрелыми сочинениями нанес я огорчение многим, а других даже вооружил против себя, вообще во многих произвел неудовольствие. В оправдание могу сказать только то, что намеренье мое было доброе и что я никого не хотел ни огорчать, ни вооружать против себя, но одно мое собственное неразумие, одна моя поспешность и торопливость были причиной тому, что сочинения мои предстали в таком несовершенном виде и почти всех привели в заблуждение насчет их настоящего смысла; за все же, что ни встречается в них умышленно-оскорбляющего, прошу простить меня с тем великодушием, с каким только одна русская душа прощать способна. Прошу прощенья также у всех тех, с которыми на долгое или на короткое время случилось мне встретиться на дороге жизни. Знаю, что мне случилось многим наносить неприятности, иным, быть может, и умышленно. Вообще в обхождении моем с людьми всегда было много неприятно-отталкивающего. Отчасти это происходило

оттого, что я избегал встреч и знакомств, чувствуя, что не могу еще произнести умного и нужного слова человеку (пустых же и ненужных слов произносить мне не хотелось), и, будучи в то же время убежден, что по причине бесчисленного множества моих недостатков мне было необходимо хотя немного воспитать самого себя в некотором отдалении от людей. Отчасти же это происходило и от мелочного самолюбия, свойственного только таким из нас, которые из грязи пробрались в люди и считают себя вправе глядеть спесиво на других. Как бы то ни было, но я прошу прощения во всех личных оскорблениях, которые мне случилось нанести кому-либо, начиная от времен моего детства до настоящей минуты. Прошу также прощения у моих собратьев-литераторов за всякое с моей стороны пренебрежение или неуважение к ним, оказанное умышленно или неумышленно; кому же из них почему-либо трудно простить меня, тому напомню, что он христианин. Как говеющий перед исповедью, которую готовится отдать Богу, просит прощения у своего брата, так я прошу у него прощения, и как никто в такую минуту не посмеет не простить своего брата, так и он не должен посметь не простить меня. Наконец, прошу прощения у моих читателей, если и в этой самой книге встретится что-нибудь неприятное и кого-нибудь из них оскорбляющее. Прошу их не питать против меня гнева сокровенного, но вместо того выставить благородно все недостатки, какие могут быть найдены ими в этой книге – как недостатки писателя, так и недостатки человека: мое неразумие, недомыслие, самонадеянность, пустую уверенность в себе, словом, все, что бывает у всех людей, хотя они того и не видят, и что, вероятно, еще в большей мере находится во мне.

В заключение прошу всех в России помолиться обо мне, начиная от святителей, которых уже вся жизнь есть одна молитва. Прошу молитвы как у тех, которые смиренно не веруют в силу молитв своих, так и у тех, которые не веруют вовсе в молитву и даже не считают ее нужною: но как бы ни была бессильна и черства их молитва, я прошу помолиться обо мне этой самой бессильной и черствой их молитвой. Я же у Гроба Господнего буду молиться о всех моих соотечественниках, не исключая из них ни единого; моя молитва будет так же бессильна и черства, если святая небесная милость не превратит ее в то, чем должна быть наша молитва.

1846 г.

Женщина в свете (*Письмо к...ой*)

Вы думаете, что никакого влияния на общество иметь не можете; я думаю напротив. Влияние женщины может быть очень велико, именно теперь, в нынешнем порядке или беспорядке общества, в котором, с одной стороны, представляется утомленная образованность гражданская, а с другой – какое-то охлаждение душевное, какая-то нравственная усталость, требующая оживотворения. Чтобы произвести это оживотворение, необходимо содействие женщины. Эта истина в виде какого-то темного предчувствия пронеслась вдруг по всем углам мира, и все чего-то теперь ждет от женщины. Оставивши все прочее в сторону, посмотрим на нашу Россию, и в особенности на то, что у нас так часто перед глазами, – на множество всякого рода злоупотреблений. Окажется, что большая часть взяток, несправедливостей по службе и тому подобного, в чем обвиняют наших чиновников и нечиновников всех классов, произошла или от расточительности их жен, которые так жадничают блистать в свете большим и малом и требуют на то денег от мужей, или же от пустоты их домашней жизни, преданной каким-то идеальным мечтам, а не существу их обязанностей, которые в несколько раз прекрасней и возвышенней всяких мечтаний. Мужья не позволили бы себе и десятой доли произведенных ими беспорядков, если бы их жены хотя сколько-нибудь исполняли свой долг. Душа жены – хранительный талисман для мужа, оберегающий его от нравственной заразы; она есть сила, удерживающая его на прямой дороге, и проводник, возвращающий его с кривой на прямую; и наоборот, душа жены может быть его злом и погубить его навеки. Вы сами это почувствовали и выразились об этом так хорошо, как до сих пор еще никогда не выражались никакие женские строки. Но вы говорите, что всем другим женщинам предстоит поприща, а вам нет. Вы им видите работу повсюду: или исправлять и поправлять уже испорченное, или заводить вновь что-нибудь нужное, словом – всячески помогать, а себе одной только не видите ничего и грустно повторяете: «Зачем я не на их месте!» Знайте же, что это общее ослепление всех. Всякому теперь кажется, что он мог бы наделать много добра на месте и в должности другого, и только не может сделать его в своей должности. Это причина всех зол. Нужно подумать теперь о том всем нам, как на своем собственном месте сделать добро. Поверьте, что Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит. Нужно только хорошо осмотреться вокруг себя. Вы говорите, зачем вы не мать семейства, чтобы исполнять обязанности матери, которые вам представляются теперь так ясно; зачем не расстроено ваше имение, чтобы заставить вас ехать в деревню, быть помещицей и заняться хозяйством; зачем ваш муж не занят какой-нибудь общепольною трудной должностью, чтобы вам хоть здесь ему помогать и быть силой, его освежающей, и зачем, вместо всего этого, предстоит вам одни пустые выезды в свет и пустое, выдохшееся светское общество, которое теперь вам кажется безлюднее самого безлюдья. Но тем не менее свет все же населен; в нем люди, и притом такие же, как и везде. Они и болеют, и страждут, и нуждаются, и без слов вопиют о помощи, – и, увы! даже не знают, как попросить о ней. Какому же нищему следует прежде помогать: тому ли, кто еще может выходить на улицу и просить, или же тому, который не в силах уже и руки протянуть? Вы говорите, что даже не знаете и не можете придумать, чем вы можете быть кому-нибудь полезны в свете; что для этого нужно иметь столько всякого рода орудий, нужно быть такой и умной, и всезнающей женщиной, что у вас уже кружится голова при одном помышлении обо всем этом. А если для этого нужно быть только тем, чем вы уже есть? А если у вас уже есть именно такие орудия, которые теперь нужны? Все, что вы ни говорите о самой себе, совершенная правда: вы, точно, слишком молоды, не приобрели ни познания людей, ни познания жизни, словом, – ничего того, что необходимо, дабы оказывать помощь душевную другим; может быть, даже вы и никогда этого не приобретете; но у вас есть другие орудия, с которыми вам все возможно. Во-первых, вы имеете уже красоту, во-вторых – неопозоренное, неоклеветанное имя, в-третьих –

власть, которой сами в себе не подозреваете – власть чистоты душевной. Красота женщины еще тайна. Бог недаром повелел иным из женщин быть красавицами; недаром определено, чтобы всех равно поражала красота, – даже и таких, которые ко всему бесчувственны и ни к чему не способны. Если уже один бессмысленный каприз красавицы бывал причиной переворотов всемирных и заставлял делать глупости наивнейших людей, что же было бы тогда, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру? Сколько бы добра тогда могла произвести красавица сравнительно перед другими женщинами! Стало быть, это орудие сильное. Но вы имеете еще высшую красоту, чистую прелесть какой-то особенной, одной вам свойственной невинности, которую я не умею определить словом, но в которой так и светится всем ваша голубиная душа. Знаете ли, что мне признавались наизуворотнейшие из нашей молодежи, что перед вами ничто дурное не приходило им в голову, что они не отваживаются сказать в вашем присутствии не только двусмысленного слова, которым потчывают других избранниц, но даже просто никакого слова, чувствуя, что все будет перед вами как-то грубо и отзовется чем-то ухарским и неприличным. Вот уже одно влияние, которое совершается без вашего ведома от одного вашего присутствия! Кто не смеет себе позволить при вас дурной мысли, тот уже ее стыдится; а такое обращение на самого себя, хотя бы даже и мгновенное, есть уже первый шаг человека к тому, чтобы быть лучше. Стало быть, это орудие также сильное. В прибавление ко всему вы имеете уже самим Богом водворенное вам в душу стремление, или, как называете вы, жажду добра. Неужели вы думаете, что даром внушена вам эта жажда, от которой вы же спокойны ни на минуту? Едва вышли вы замуж за человека благородного, умного, имеющего все качества, чтобы сделать счастливой жену свою, как уже, вместо того чтобы сокрыться во глубину вашего домашнего счастья, мучитесь мыслию, что вы недостойны такого счастья, что не имеете права им пользоваться в то время, когда вокруг вас так много страданий, когда ежеминутно раздаются вести о бедствиях всякого рода: о голоде, пожарах, тяжелых горестях душевных и страшных болезнях ума, которыми заражено текущее поколение. Поверьте, это недаром. Кто заключил в душе своей такое небесное беспокойство о людях, такую ангельскую тоску о них среди самых развлекательных увеселений, тот много, много может для них сделать; у того повсюду поприще, потому что повсюду люди. Не убегайте же света, среди которого вам назначено быть, не спорьте с Провидением. В вас живет та неведомая сила, которая нужна теперь для света: самый ваш голос, от постоянного устремленья вашей мысли лететь на помощь человеку, приобрел уже какие-то родные звуки всем, так что, если вы заговорите в сопровождение чистого взора вашего и этой улыбки, никогда не оставляющей уст ваших, которая одним только вам свойственна, то каждому кажется, как бы заговорила с ним какая-то небесная родная сестра. Ваш голос стал всемогущ; вы можете повелевать и быть таким деспотом, как никто из нас. Повелевайте же без слов, одним присутствием вашим; повелевайте самим бессилием своим, на которое вы так негодуете; повелевайте и именно той женскою прелестью вашей, которую, увы! уже утратила женщина нынешнего света. С вашей робкой неопытностью, вы теперь в несколько раз больше сделаете, нежели женщина умная и все испытывавшая со своей гордой самонадеянностью: ее наивнейшие убеждения, с которыми она бы захотела обратить на путь нынешний свет, в виде злых эпиграмм посыплются обратно на ее же голову; но ни у кого не посмеет пошевелиться на губах эпиграмма, когда одним умоляющим взором, без слов, вы попросите кого-нибудь из нас, чтобы он сделался лучшим. Отчего вы так испугались рассказов о светском разврате? Он, точно, есть, и еще даже в большей мере, чем вы думаете; но вам и знать об этом не должно. Вам ли бояться жалких соблазнов света? Влетайте в него смело, с той же сияющей вашей улыбкой. Входите в него, как в больницу, наполненную страждущими; но не в качестве доктора, приносящего строгие предписанья и горькие лекарства: вам не следует и рассматривать, какими болезнями кто болен. У вас нет способности распознавать и исцелять болезни, и я вам не дам такого совета, какой бы мне следовало дать всякой другой женщине, к тому способной. Ваше дело только приносить страждущему вашу

улыбку да тот голос, в котором слышится человеку прилетевшая с небес его сестра, и ничего больше. Не останавливайтесь долго над одними и спешите к другим, потому что вы повсюду нужны. Увы! на всех углах мира ждут и не дождутся ничего другого, как только тех родных звуков, того самого голоса, который у вас уже есть. Не болтайте со светом о том, о чем он болтает; заставьте его говорить о том, о чем вы говорите. Храни вас Бог от всякого педантизма и от всех тех разговоров, которые исходят из уст какой-нибудь нынешней львицы. Вносите в свет те же самые простодушные ваши рассказы, которые так говорливо у вас изливаются, когда вы бываете в кругу домашних и близких вам людей, когда так и сияет всякое простое слово вашей речи, а душе всякого, кто вас ни слушает, кажется, как будто бы она лепечет с ангелами о каком-то небесном младенчестве человека. Эти-то именно речи вносите и в свет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.